

Ф.Горенштейн

Лингвистика как инструмент познания истории

Почти десять лет тому назад, с конца 1983 года, периода для истории ясного и неподвижно-застойного, мной вдруг начал овладевать «исторический невроз». Так в тяжелый душный день хочется ветра, беспокойства, неопределенности. Из этого чувства родился замысел драмы о петровской эпохе, судьбоносной для России и для Европы.

Я вообще убежден, что лучшие замыслы, по крайней мере в литературе, а может быть, не только в литературе, подчинены законам сенсуализма, философского учения, признающего знания достоверными, если в их основе лежит чувственное восприятие. А сенсуализм неразрывно связан с лингвистикой, с наукой о языке, которым говорят чувства.

Можно так сказать: исторический момент в литературе осложнен лингвистическим. Особенно это наглядно в драмах. Есть хорошие исторические романы, однако, на мой взгляд, наибольшего успеха в познании истории достигла драма, где история по-шекспировски, по-шиллеровски звучит.

Позднее, уже задним числом, я обнаружил нечто подобное у ученого XIX века Макса Мюллера, который на основании анализ языков арийских народов пытался изучить эволюцию этих народов. Разница, однако, научно-исторического сопоставления и литературно-исторического в обращении к разным сторонам общих для народов культурных условий. Наука изучает общеисторические эволюции, но она слишком ограничена строгими логическими правилами и потому не способна охватить и сопоставить мелочи, детали истории, которые и создают в своей совокупности соответствующую учению сенсуализма чувственность знания.

Особенно это наглядно в теории так называемых «скрытых фактов», то есть таких фактов, которые не даны непосредственно в источниках и которые, подобно неизвестному в математических уравнениях, приходится восстанавливать по имеющимся уже данным.

Историк Тейлор пытался поставить на научную почву изучение переживаний, основывая это на том справедливом наблюдении, что скрытые, вытесненные историей факты: верование, обычаи, учреждения — не исчезают без остатка. От них остаются следы, мало гармонирующие с соответствующим строем, но ревностно сохраняемые народом. Тем не менее не только Шекспир, Шиллер или Лев Толстой, но даже и Дюма, который весьма непочтителен с устоявшимися, проверенными фактами, в «скрытых фактах», в исторических переживаниях правдивее и глубже маститого английского историка. И наоборот, когда литератор пытается конкурировать с исторической наукой на ее почве и действовать ее методами, он терпит полный крах. Таким показательным крахом является многотомная эпопея Солженицына «Красное колесо». Пошедший научным путем «философии истории», Солженицын пытается подвести идейный итог всего революционного перелома в России 1917 года.

Надо сказать, попытки ввести в истолкование исторических фактов философский элемент вообще не выказали особой плодотворности даже и у Вольтера, пустившего этот термин в оборот. Науку этот метод лишает объективной строгости, художественность подчиняет субъективной идее, т.е. идеологии. Конечно, задачи, поставленные историософией, кажутся грандиозными и соблазнительными. Поэтому задолго до Вольтера, не говоря уже о

Солженицыне, многие мыслители пытались использовать «философию истории», чтобы все завершить и поставить «великую всемирную точку».

В своем труде «Политика» Аристотель пытался подвести итог политико-социальному развитию всего древнего мира. В «Civitas Dei» Блаженный Августин пытался охватить мирозерцание всей исторической мысли средневековой Европы. Однако в первом случае, как верно замечено, получились не более чем грубые историко-философские эскизы, а во втором — теологический трактат, проповедующий противоположность мирского и духовного.

На мой взгляд, литератор, обеспокоенный современностью и желающий изучить и восстановить ее исторические корни, должен забыть о своих идеологических и философских пристрастиях, так же как и археолог, осторожно снимающий верхние слои и добирающийся все глубже к нижним, или как аморальный гробокопатель, будоражащий мертвых. Да, я бы сказал, в подобной работе надо забыть даже о морали. Мораль необходима в истории живой, в истории мертвой, в истории «обратного хода» надо попытаться взять за образец аморализм «чистой природы». Ибо только та история правдива, в которой о мертвых, кто бы они ни были, не боятся говорить плохо, вопреки пословице. Но и не стараются использовать безответность мертвеца, чтобы пнуть его ослиным копытом. Особенно когда мертвецу-империи 450 лет.

В драме «Детоубийца» из петровской эпохи, оконченной мною в 1985 году, и в диалогах из времен Ивана Грозного «На крестцах», над которыми уже несколько лет продолжается работа, я стремлюсь использовать для познания исторических фактов лингвистику эпохи, причем не только по проверенным источникам, но часто по мифологии и фольклору. Пытаюсь через слова, произносившиеся давно истлевшими устами, ощутить живую суть послемонгольской России, крестьянской Азии, упорно, с энергией, со страстью отрицающую торгово-промышленную Европу. Причем, когда речь идет об отрицании, то хотелось бы иметь в виду не только и не столько славянофилов, сколько западников. Ведь западником был не только Петр I, который строительством Петербурга и захватом Прибалтики «пробивал окно в Европу». Западником был и Иван Грозный, и отец его Василий III, и дед Иван III. Ибо отрицание приобретает еще более опасные черты в неудачном и неумелом внешнем заимствовании. Уже упомянутый выше историк Тейлор говорит в своей «Антропологии», что китайцы, покупая английские суда и не умея с ними обращаться, нарочно их уродуют, превращают их в свои безобразные джонки. Нечто подобное происходит и с западными идеями в России. Лишь тогда, когда России удастся исцелить свои исторические язвы, бытовые, политические и экономические гноинки, берущие начало в XVI веке, западноевропейские идеи не будут служить солью, эти язвы травящей.

Какие же основные язвы были заложены в глубинах русской истории в XVI веке, во времена царствования Ивана Грозного?

Это, прежде всего, двухголовая самодержавно-теологическая власть, созданная православной церковью. Надо сказать, что идейная борьба внутри православной церкви между сторонниками духовной жизни церкви, не вмешивающимися в политическую жизнь государства, и церковными государственниками окончилась победой последних. Самодержавность русской православной церкви возникла раньше государственной самодержавности. Все империалистические и шовинистические идеи, господствующие потом в русской государственности: идеи России — «третьего Рима», идеи особой мессианской роли русского народа и прочие — возникли и развились в церкви. На раннем этапе царствования Ивана Грозного сложилась ситуация, при которой Россия могла бы стать наподобие Польши монархией, ограниченной парламентом, состоящим из родовой знати. При всех своих

отрицательных чертах родовая знать все-таки играла тогда роль демократического государственного элемента. Если этого не случилось, если власть в России на века приобрела характер волевых импульсов и действий отдельных людей, назывались они царями или вождями, то в этом огромную роль сыграла православная церковь: создав неограниченную монархию, церковь вскоре сама попала под сапог деспотизма, уже при Иване Грозном, а при Петре I вообще превратилась в обычный государственный департамент.

Во времена коммунистические это было видно особенно наглядно. Ныне в вакууме идеологии церковь и посткоммунистическое государство назойливо демонстрируют свою взаимную любовь. Не учитывая уроков прошлого, церковь опять использует свою возникшую независимость не для отстаивания своей самостоятельности, а для построения государственной духовно-политической двуглавости. Не говоря уже о все более усиливающихся в церковной среде, особенно под влиянием эмигрантских церковных кругов, реакционных, шовинистических российских антисемитских тенденциях. И это не случайное, преходящее явление, а закономерное, с прочными многовековыми историческими корнями.

Конечно, не в одной лишь России церковь по тем или иным соображениям способствовала созданию неограниченной власти монархии, способствовала победе самодержавной монархии над вельможными вольностями. Такое можно было наблюдать и в Европе, в частности в Англии, в том же XVI веке во времена современницы Ивана Грозного королевы Елизаветы I. Существенная разница, однако, состоит в том, что при неограниченной политической монархии в Англии сохранил экономическую власть СОБСТВЕННИК. Отсутствие собственника в России — вот что прежде всего отмечал английский посол при Иване Грозном Дженкинсон, являвшийся, кстати, активным сторонником англо-российского сближения. В России все были не только политическими, но и экономическими рабами самодержавной власти: и крестьяне, и вельможи, и купцы, не обладавшие свободой действия наподобие купцов византийских. Собственник в России возник слишком поздно, слишком робко и в обстоятельствах приближающегося государственного обвала, что не могло не наложить на него свои психологические черты. Да и холопства своего перед властью он до конца преодолеть не смог, поскольку в значительной степени был происхождения мужицко-кулацкого.

Нечто подобное можно наблюдать и ныне в среде посткоммунистического собственника. И это тоже не случайно несчастливо сложившиеся обстоятельства, а историческая традиция, закономерность с глубокими корнями.

Тут обнаруживается и вторая «русская язва», заложенная в XVI веке в времена Ивана Грозного. Окончательная победа московского военно-кочевого образа жизни над новгородским торгово-промышленным. Более столетия, начиная с деда Ивана Грозного Ивана III, современника Христофора Колумба, потратила монголоидная Москва на уничтожение новгородского русского собственника — индивидуалиста, угрожавшего русскому московскому абсолютизму не только и не столько экономически, сколько психологически. Тогда-то и были созданы (созданы искусственно, а не вытекающие из так называемого своеобразия русского характера) основы коллективизма русского человека все привыкшего делать общинно, «скопом». Созданы за много веков до сталинской коллективизации. Я убежден, по-настоящему сталинской коллективизации как идее сопротивлялось меньшинство. Большинство сопротивлялось чингисхановскому тупому насилию, сопровождавшему обобществление собственности. Да и то сопротивлялись главным образом на Украине, где общинная психология, созданная условиями земледельческого труда, была не столь развита.

Во времена так называемой столыпинской реформы выйти из общины и взять землю согласилось лишь 25 процентов крестьян. Подобное, но еще в более ухудшенном виде, приходится наблюдать и ныне. Колхозное и совхозное крестьянство в массе своей не хочет становиться землевладельцем. Приводятся многочисленные объяснения, точнее, оправдания этому факту, разочаровывающему самые «светлые антисоветские мечты». Многие из этих объяснений справедливы. Но главное объяснение все же психологическое, т.е. чувственное, попадающее под законы сенсуализма и могущее быть выраженным лингвистически, в духе «Семенов Никитичей» Глеба Успенского, знатока «русских мелочей жизни»: «Мы этим не занимаемся, нешто мы ученые».

Причем если в XIX веке во времена Глеба Успенского большинство простонародья жило в деревнях, было неграмотно и обладало общинным сознанием, противоположным городскому индивидуализму и быту городских мещан, то ныне после переселения деревенских масс в города и сплошной «социализации труда» в обществе образовалась единая хаотичная деревенско-городская куча, где миллионы «живут как прочие» — «сплошным бытом». Через этот ребяческий возраст человечества прошли все народы, но счастливое сочетание исторических обстоятельств и географических условий помогло народам Европы вовремя отделаться от него, давно забыв об общинах. Затянувшееся ребячество — вот что сделало для России историю мачехой. И к главной причине такого «исторического ребячества» надо отнести азиатско-монгольскую оккупацию, превратившую Россию ПСИХОЛОГИЧЕСКИ из страны Запада в страну Востока. Попытки Новгорода восстановить западничество были насильственно, погромно прерваны главным золото-ордынским продолжателем на Руси, главным в прошлом монгольским сателлитом — монголоидной Московией.

В своем труде «Философия истории» Гегель говорит о «сплошном быте» восточных народов, так же, как и Глеб Успенский говорит о «сплошном быте» русского народа. «Сплошная мысль», «сплошная нравственность» и, вообще, «сплошная жизнь» составляют характерную особенность Востока вообще и Китая в особенности, его быт, его лингвистику, состоящую из нравоучительных высказываний, пословиц и поговорок, созданных неизвестно кем, «сплошным умом» и передающихся из поколения в поколение, из уст в уста, не как украшающий фольклорный элемент, а как руководство в повседневности. «Кто чем не торгует, тот тем не ворует» — не сегодня выдуманно это руководство к действию, не вчера, а много веков назад, океаном людским, тогдашними «семенами Никитичами» для повседневной жизни нынешних «Семенов Никитичей». Такова лингвистика русской истории в ее итогах.

Как известно, лингвистика Французской революции подытожена кратким лозунгом: Свобода, Равенство, Братство. Разумеется, речь шла об идеале, а не о повседневной «человеческой комедии». Повседневный европейский западный индивидуализм, обладая высоким производительным потенциалом, далеко не всегда сочетался с нравственностью. Гораздо ближе друг к другу идеал и повседневность на азиатском Востоке, где как раз отсутствие свободы порождает равенство, в какой-то степени даже братство перед давящей силой деспотизма. «Так как в Китае царствует равенство, то в нем нет никакой свободы, — замечает Гегель, — и деспотизм является там необходимой правительственной формой». Так было при Сталине. И народ эта чингисхановская сталинская деспотия угнетала и калечила физически. Однако когда жестокая сталинская форма деспотии сменилась мягкой брежневской, она стала необходимой формой не только для правительства, но и для большинства народа. Каждый был «ничто», и каждому цена была грош, но МЫ были все, и НАС боялся весь мир. За это можно было простить и скудность брежневского «коммунистического» пайка, и глупую скуку брежневской повседневности. Впрочем, интеллектуальная научно-культурная элита, даже из числа вольнодумцев, имела доступ и к привилегированному пайку. В целом о брежневском периоде с

тайным вздохом, а иногда и явно вспоминают сейчас как о райском времени. Однако заведомо лгут себе и другим те, кто выстраивает альтернативу нынешнему хаосу и беде на территории бывшей империи в брежневской устоявшейся, пусть убогой, скучной, но прочности. Один американский советолог высказался о брежневском периоде как о времени сочетания «пушек и масла». Нет ничего более противоречащего логике фактов. С каждым годом масла становилось меньше, пушек больше. А пушки должны стрелять. Ибо по экономическим законам произведенный в больших количествах товар должен быть реализован. При Брежнев коммунистическая партия выполнила свое обещание, осуществила вековую мечту всякого крепостного, всякого раба, живущего коллективным сознанием: работать мало, но все-таки гарантированно, устойчиво существовать. Спору нет, такое существование привлекательно. Если бы только не эти проклятые экономические законы, которые не мог опровергнуть даже Карл Маркс. Существует экономический термин — банкротство, т.е. несостоятельность. А что делает отчаянный лавочник, когда ему нечем платить по векселям? Он старается поджечь лавочку. В данном случае пожар мог стать атомным, всемирным. К нему, по сути, готовились все 20 «устойчивых» брежневских лет. Наверное, уже тогда среди брежневских деятелей были такие, которые понимали, не загорится лавочка, придется платить по векселям, наступит хаос и развал империи. В этом смысле понятно «нелогичное» начало афганской войны. Однако на большее все-таки не решились, все-таки в последний момент испугались, попытались найти третий путь — «перестройку». Объективная логика фактов доказала — третьего не дано.

РАЗВАЛ ИМПЕРИИ И ХАОС НАЧАЛСЯ ПОТОМУ, ЧТО НЕ НАЧАЛАСЬ ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА.

Даже если бы удалось избежать многих просчетов и ошибок (а кто такой провидец?), альтернатива была бы: нынешний хаос на политических и экономических руинах империи или третья мировая война — атомные руины. Из-под атомных руин выбраться вообще было бы некому, но из-под политических и экономических руин выбраться очень трудно.

На кого же надежда? На «плохих» людей с психологией индивидуалистов, которых ради традиционного общинного коллективизма изводили начиная с эпохи Ивана Грозного. На их лингвистику собственника, в которой «мое» подавляет «наше». И напрасны надежды, что на этом пути удастся избежать западноевропейских язв у русского. Перпетуум мобиле не бывает. «Человеческая комедия» будет идти своим путем. Однако тогда в России, как во Франции, Англии, Германии и других странах Западной Европы, человеческие беды, человеческие трагедии, человеческие пороки станут не массовыми, а индивидуальными, не затрагивающими самих основ национальной жизни. И история станет, наконец, для России не мачехой, а матерью, любящей своих детей и пользующейся в любви взаимностью.

Берлин, 1993